

СЕРГЕЙ ДОРОВСКИХ



МОСТ

РАССКАЗЫ

Наконец-то я дождался отпуска — он не сорвался, как в прошлом году. Я завершил дела, и мы отправились семьёй на базу отдыха. Июль, полдень, солнце в зените. Настоящая пытка — путешествовать в такое время на машине без кондиционера. Мы выехали ранним утром и в дороге уже шесть часов, едем по волгоградской земле. Дочь становится капризной:

— Папа, ну, скоро речка? Ты обещал! Хочу купаться!

Я мычу что-то в ответ. Снова немного открываю форточку — не помогает, в салоне душно.

Мне самому хочется быстрее к воде.

— Пап, почему мы не искупались в том озере! Там можно было! Там пляжик был! Давай вернёмся!

Я отвечаю, что знаю место намного лучше. Хотя, конечно, обманываю ребёнка — я никогда не бывал здесь. В такую жару плохо не только людям — даже навигатор не выдерживает и постоянно сбивается, обещая, что вот-вот мы будем у моста через Дон. Но пока по обе стороны дороги — опалённая солнцем степь. Ни дуновения ветра. Мне подумалось, что и раньше, семьдесят лет назад, эта земля была такой же. Клонился под палящим солнцем ковыль, и всё так же виднелись свинцовые островки полыни.

— Папа!

---

*ДОРОВСКИХ Сергей Владимирович родился в 1986 году в Тамбове. Окончил Тамбовский государственный технический университет. С 2004 года работает в журналистике. Лауреат областной журналистской премии им. И. И. Овсянникова. В 2012 году при финансовой поддержке администрации Тамбовской области создал и возглавил художественно-публицистический и краеведческий журнал “Литературный Тамбов”. Автор книг “Единственный выход”, “Ересь”, “Патриот, хранимый судьбой”. Живет в Тамбове.*

— Полина, потерпи! — голос жены отрезает ноющие просьбы. Я мысленно благодарю её.

И вот наконец-то показался мост. Монолитный и крепкий, он бетонными ногами уходил в воду и, словно огромный мускулистый воин, простирал руки над Доном. От берега до берега тянулись его жилы, удерживая бесконечный поток легковых машин и тяжеловесных фур.

Я свернул и по извилистой песчаной дороге доехал до реки. Мы вышли из машины. Я знал, что расстрою жену и дочь: место это не было предназначено для купания. Крутой спуск к воде, никакого пляжа, и только Дон — широкий, вольный, опасный.

— Папа! — дочь уже плакала.

— Полина, мы искупаемся! Я же обещал. Но подожди минутку, хорошо! Отдохни, нельзя сразу, а то заболеешь!

Дочка кивнула.

Я быстро сбросил одежду и, нарушая свои же слова, с разбега нырнул. Прохладная вода взбудрила меня; она смыла напряжение, унесла тяжесть долгого пути. Я плыл, поминутно ныряя и ориентируясь на бетонные сваи моста. Будто погружённый в огромную купель, я рождался заново. И хотя приходилось сопротивляться течению, мне было легко. Я плыл, маленький человек в огромном водяном потоке, и думал о главном... Да простят меня родные, но никому на свете я не говорил, что дал слово побывать тут. И базу отдыха я выбрал во многом исходя из того, что по дороге нам будет нужно миновать этот мост.

В июле сорок второго года здесь, в боях за мост у города Калач-на-Дону, погиб мой дед. Тот мост был иным, вовсе не таким мощным и современным, но значение его было огромно. На какой-то миг ось войны сместилась и прошла здесь. По замыслу Гитлера, уже двадцать пятого июля его войска должны были взять город, а к вечеру подойти к Сталинграду... Вот только планы его утонули в Дону.

Про деда я знаю только по рассказам, представляю его по фотографиям. У него нет могилы — тогда, при отступлении, многих не смогли похоронить. Я плыву и чувствую, будто он где-то рядом, его голос слышится в плеске воды, отдаётся эхом в шуме автострады, он вместе с тысячами душ проплывает нечаянным облаком в жарком небе. Я набираю воздуха, ныряю глубоко, не достаю дна, вновь поднимаюсь к поверхности.

В тот день, когда солдаты держали оборону, стояла такая же нестерпимая жара. Но что-то изменилось в природе, война сломала ход времени. На заре погожего дня нельзя было увидеть солнца — уже с восходом навалилась тьма, воздух стал едким от чёрного дыма горящих танков. Пехотинцы, артиллеристы и миномётчики принимали эту лавину на себя. Все, кто сражался за мост, знали, что обречены, — на Сталинград шла отборная армия Паулюса. Интересно, что чувствует человек перед боем, итог которого очевиден? Но бойцы — с закопченными лицами, с кристально чистыми глазами, в выцветших от палящего солнца гимнастёрках — встречали врага молча и решительно.

Они не сдались. Только спустя неделю обороны, не в силах сдерживать натиск, солдаты отступили на левый берег. И когда немцы с ходу попытались ворваться на мост, саперы успели взорвать его... Да, июльские бои на Калачёвском плацдарме не были победоносными. Но те, кто не сдал мост, изменили ход истории, отодвинув сроки Сталинградской битвы.

Я из последних сил дотянул до бетонной сваи и, держась за неё, едва смог отдышаться. Над головой слышен гул машин. Грузовики, автобусы, легковушки, а в них — люди. Тысячи людей проезжают по мосту за день. Многие ли задумаются над тем, что это за место? Может быть, они сейчас спорят о чём-то в своих душных салонах, ругаются, слушают зарубежные песни по радио? О чём их мысли? Я пытаюсь уловить и понимаю, что не могу.

Плыть обратно было легче — Дон подхватил меня течением, словно ладонями. Временами я переворачивался на спину, смотрел на чистое небо и думал: зачем мне дана жизнь? На что я её трачу? Правильно ли я плыву по ней? И настолько глупым, не ценным показалось всё то, что я оставил

в городе, настолько ничтожными виделись причины, по которым я откладывал отпуск и не мог побывать тут. Столько людей — сильных, отважных — отдали жизни в той войне. Неужели ради того, чтобы мы путались в виртуальном мире, в этих проводах и кабелях, сидели в офисах, губили время на бестолковых встречах и совещаниях, теряли души в интригах и злобе?

Я знал, что на берег выйду другим человеком...

Жена искупалась и лежала в тени деревьев. Она улыбнулась мне, и по этой улыбке я понял, что ей это место всё же понравилось. Дочка сидела у машины грустная. Я позвал, и она с радостью побежала ко мне.

Я взял её на руки, зашел по грудь в воду. Поначалу она испугалась, но ей быстро понравилась прохлада.

— Папа, а ты меня не отпустишь, нет?! Ой, как страшно! Тут такое течение!

— Не бойся! — я улыбнулся. — Это Дон-батюшка, он на самом деле добрый. Смотри, какие волны поднимаются!

— Да, волны. Они как морщинки!

Полина плавно двигала ручками и ножками, будто могла плыть. Она только училась, и я удерживал её и помогал.

Казалось, в эту минуту я мог видеть себя со стороны. Я держал на руках шестилетнюю дочь, и кто-то другой, большой и сильный, простёр руки и надёжно подхватил меня. Но и он был не самым сильным, а тоже имел свою могучую опору. Эта цепь тянулась из прошлого в будущее, и мой дед, родители, я, жена и дочь — все мы были её звеньями.

Дочка смеялась и фыркала:

— Папа, я могу плыть, у меня получается! Я — дельфинчик!

Я посмотрел на мост. В душном мареве мне показалось, над ним простёрты крылья Ангела.

## СЛЕЗА НА ПЕРРОНЕ

Серое небо. Может, из-за низких туч, бетонной плитой нависших над городом, оно стало таким или от едкой гари, окутавшей округу, будто дым гигантского крематория. Куда ни посмотри — всё таит страх.

На перроне польского вокзала было многолюдно. Некоторые шептались, но большинство молча смотрели на полотно рельсов. Прислушивались, как приближается поезд. По настроению не скажешь, что кто-то пришёл встречать близких. Нечто иное привело их. Нет, это не утро мирного дня, вокзал давно забыл, что такое мир. Сейчас он печален и глух, как старик, чудом сумевший ожить после сердечного приступа.

Рядовой Генрих Диц раскуривал “Саго”. Едкий дым польских сигарет резал глаза. Солдат положил огарок спички в карман и посмотрел на сырые после ночного дождя шпалы. Подумал, как быстро железнодорожная полоса превратилась из пути сообщения в дорогу смерти. По ней ежедневно шли составы с “живым материалом” — новыми партиями узников.

Диц родился в Гамбурге в семье военного. Его детство нельзя назвать безоблачным. Отца, ветерана Первой мировой, он видел только на фотографиях, для него он на всю жизнь остался легендой. Подтянутый офицер, строгий, в военной форме и непременно начищенных сапогах. Таким он смотрел с пожелтевших снимков.

“Во имя чего погиб отец? — думал Диц. — Что дала Германии его смерть?” Спрашивал себя: да и зачем он здесь, в Польше, ради каких идеалов? С каждым днём нарастала тоска, он вспоминал Гамбург... “Что будет дальше? — думал он. — Придут русские и всё сравняют. Придут и всех повешают. Так заверяют, так будет”.

Пока что он смотрел на пылающую Польшу и понимал, что её придётся сдать. Скоро и некогда цветущая Германия превратится в такие же руины. И ради чего были лозунги, парады, всеобщее ликование?... Он не питал ненависти к славянам. Но ему осточертели чужие страны, война, которая вряд ли закончится так, как предполагалось. Тянуло бросить всё и убежать.

Но позволить себе дезертирство он так же не мог, как и продолжать служить. Смерть представлялась спасением, но и она обходила стороной, словно брезговала прикоснуться и забрать. Генрих чувствовал себя железкой, зажатой в тисках войны.

А выхода нет.

Он смял окурок, растёр пальцами чёрный табак и опустил в деревянный ящик с песком. Сглотнул горькую слюну, и на душе сделалось так же противно, как во рту. Похожий на змею состав показался вдали. Шумный и грозный, он постепенно приближался к станции города Ченстохова. Замедлял ход, поминутно разрезая воздух скрипом, и солдату казалось, будто эта огромная машина раскаляет рельсы, вынуждает их стонать, прогибаться, исходить густым паром. Вагоны — огромные, как туши китов, проплывали мимо, и над каждым, словно над могилой, висела поясняющая табличка: “Добровольцы едут работать на Великую Германию!” Генрих сосредоточился: поезд последний раз вздохнул и замер, а значит, наступает самое ответственное время.

С хрустом разминая ноги, медленно выбирались “добровольцы” — подавленные мужчины с впалыми щеками и угасшими, сделавшимися светлыми, как лазурь, глазами. Но Генрих заметил — эти люди чисты. Его недавно перевели сюда, до этого Диц дежурил в Бобруйских застенках и знал, что в тюрьмах узников содержат в нечеловеческих условиях. Тяжёлый труд, скудное питание, ночные допросы... и полнейшая антисанитария. Однако перед отправкой их загоняли в бани, одежду паром очищали от вшей и паразитов, и они, как омытые покойники, ехали навстречу Бухенвальдской каменоломне и крематорию.

Диц пытался быть безучастным. Он старался не думать о них. Нет, не получалось. Он ненавидел узников просто за то, что они существуют и ему приходится быть здесь, с ними, а не дома, в Германии, словно советская сторона начала войну, а не наоборот. Его это вообще не касается — кто что начал! Это они виноваты! Это его куда-то всё время везут в душном вагоне, фальшиво именуют добровольцем и гонят на конечную станцию, где слышны стоны и нет возможности развернуться, сбежать, чтобы не слышать эти вечные крики, где никогда не удастся погасить пылающий огонь, сгладить страдания. Захотелось разрядки. Нужно ударить кого-нибудь из этих сутулых, размазать лицом по перрону, спихнуть на рельсы и выстрелить. Генрих знал, что нельзя. Теперь нельзя. Не сорок первый. Победы не будет, но близок суд. Вспомнят всё. Иногда Дицу казалось, что именно его, рядового солдата вермахта, а не кого-то из верхушки, повезут на цепи в Москву и посадят в клетку на Красной площади. И прохожие будут плевать, проходя мимо, выплёскивая именно на него весь гнев. “Потому что русские не видели Гитлера, они видели меня. Для них я — его лицо”.

Из ближайшего вагона кувыркнулся мальчишка лет семи. Прыжок оказался неудачным, и парнишка вытирал о штаны пыльные ладони, смотрел на сорванные кусочки кожи и кровоточащие ранки. Ни одной слезы не проронил этот молчаливый ангел, словно привык терпеть боль. Голубые кругляши глаз смотрели на каменное лицо солдата. Генрих знал, что в лагерь отправляют не только взрослых. Но в первый раз он заглянул в душу юному, только начавшему жизнь человеку, чья судьба была предрешена. И как он мог оказаться в застенках, за что? Должно быть, сын партизана. Мальчик безучастно отвернулся, словно Диц — это серый, перетянутый смертоносным электричеством придорожный столб. Был ли он человеком? Его душа напоминала котёл, где кипели противоречивые страсти, всплывали распухшие, вываренные донельзя в горькой желчи почки гнева. Котёл должен взорваться, а дальше — какой-то сдвиг.

Женщину со шрамом на щеке Диц заметил не сразу. С виду неприметная, в длинном и изорванном, как флаг давно проигравшей стороны, платье, с шерстяным платком на обвисших, словно коромысло, плечах. Должно быть, как и другие, пришла поглазеть на добровольцев. Не запрещено. Однако солдата насторожило, что она беспокойно осматривается и вкрадчиво следит за ним. Постояв так минуты две, она подошла к мальчику. Чуть заметно

провела по русым волосёнкам длинными и худыми, ставшими от тяжёлой работы и недоедания похожими на сучья пальцами. Мальчик поднял на неё чистый взор и, утерев лицо, нерешительно улыбнулся. Она что-то прошептала на ухо, но тот не понял. С недоверием принял осколок сахара, но, разглядев, что это, залепетал от восторга, кромсая невиданное лакомство.

“Ну, порядок, — решил Генрих, — порядок. Женщина приласкала ребёнка. Осматривается из страха. Не бойся, не убью”.

Однако женщина не собиралась расставаться с мальчиком. Она взяла его руку, при этом продолжая что-то шептать. И он отвечал. Может, у них и складывался разговор, но Генрих знал всего несколько фраз из славянской речи и не мог их понять. Они прошлись около вагонов, постояли возле угрюмых “добровольцев”, вернулись назад, и опять сделали точно такой же круг.

“Что-то не так”, — подумал Диц и в подтверждение тревоги увидел, что женщина, всё так же крепко сжимая ладошку ребёнка, засемила к вокзальным часам. Она решила, что нет свидетелей и её примут за мать с сыном. Рискуя жизнью, пыталась спасти мальчика от ужасов концлагеря.

“Вот и взорвало котёл, — решил Генрих. — Что делать? Да будь оно всё тысячу раз проклято! Будь тысячу раз проклят я сам за прошлое, за то, что делал на Восточном фронте, но я не двинусь! — нога машинально дёрнулась, рука потянулась к затвору, — не двинусь! И ты не оглядывайся, глупая! Уводи быстрее! Давай-давай, белоголовый. Давай! Беги и живи! Вот так, ногами, живее, за матерью! Не отставай. Вперёд!”

Впервые за столько лет по щеке, по широким скулам, огибая то и дело напрягающиеся желваки, пробежала слеза, и Генрих не нашёл сил остановить её. Сколько всего пережито за эти годы. Не думал, что очерствевшее сердце способно на это. Слеза сорвалась с подбородка, упала на перрон и растаяла в пыли, будто и не бывала. И этот внезапный перелом что-то предвещал. Нет, не кровь случайного узника, пролитую в диком и беспощадном припадке ярости, — обещала будущее. Слеза немца, оброненная на перрон, напоминала первую каплю с тающей сосульки, когда зима ещё сильна и кажется вечной, но в воздухе уже парит ощущение весны. Диц знал: ему придётся ответить, ну и пусть. Он вспоминал детство, когда и он был, как этот случайный ангел. Братья помогали мастерить воздушного змея и уверяли, что папа жив и скоро вернётся с войны. Старшие очень долго тешили его, и он верил. Верил в то, что настанет час, когда они с отцом запустят это летающее чудо, и он скажет: “Папа, я смастерил его для тебя. Скажи, ведь здорово получилось!”

— Диц! — всё стерлось. Властный голос, как ураганный ветер, резко запахнул душу. — Диц!

Человек в штатском сунул ему в лицо удостоверение сотрудника гестапо. Он едва успел прочесть: “Криминальинспектор Вильгельм Штрасс”.

— Это Ваш участок, Диц! Ваш! За мной! Немедленно задержать ту, со шрамом!

Мальчик доверчиво шёл за незнакомкой. Как Генрих, никогда не видевший отца, он не знал матери, и принял женщину за неё. Он думал: наконец-то меня нашли! Да-да, его специально ждали тут, чтобы забрать навсегда. Крупики сахара сладко дотаивали на языке, и он думал, что теперь часто будет кушать что-нибудь такое же бесподобное. Три года его кормили отвратительным хлебом, мелкой, словно камушки, картошкой и вместо чая поили отваром берёзовых листьев. Но это всё в прошлом. Теперь у него будет дом, где его уже ждут родные брат и сестрёнка. Так уверяла мама. Брат и сестрёнка. Правда, говорила она как-то странно, язык вроде бы похожий на родной, но такой плюшевый, кругловатый, мягкий. Должно быть, она говорит так, потому что любит. А ещё сказала, что они всегда будут вместе. Эх, ну скорей бы уйти. Здесь так душно, все злые, бесцветные, одна мама яркая. Мама, скорей!

Женщина шла без оглядки. Но, нервно ускоряя шаг, не в силах сдерживать волнения, она выдала себя. Ничто не существовало для неё, кроме малыша, хотя дома, вернее сказать, в подвале плакали её беззащитные дети.

Идея спасти малыша родилась у неё давно. Она работала вокзальной уборщицей, часто мела перрон и как никто другой знала, что фашистские изверги гонят в Германию не только взрослых, но и совсем несмышлёных. Казалось бы, все законы морали давно захлебнулись в крови. Но она, сколь ни пыталась уверить себя, что всех детей не спасти, не могла поступить иначе.

Тревога постепенно утихала. Мысль, что расчёт оказался верным и ей всё удалось, ласкала сердце. Конечно, прокормить ещё одного ребёнка будет нелегко, тем более, она уже пять лет как овдовела. “Мой малютки, збыстреи, я з тоба!” — говорила полька, глядя на мальчика. Она уже любила его всем сердцем, как своего.

Их задержали, когда они почти покинули вокзал. Ещё несколько шагов, и... не успели. Окликнули резко, лающе, по-немецки. Она вздрогнула, остановилась, крепко-крепко прижимая мальчика. Губы дрожали, её нежные, похожие на лозу винограда локоны закрывали плачущие глаза. Парнишка тоже испугался, изо всех сил вцепился в платье, но его тут же оторвали и потащили обратно. Полька слышала, как всё дальше и дальше удаляется детский плач, исчезает в вокзальном шуме, будто крик утопленника в глубокой пучине.

Генрих Диц допустил оплошность. Он — рядовой солдат, не был осведомлён, что на вокзале дежурят гестаповцы в гражданской одежде. Они, в отличие от рядового, колебаться не привыкли.

Длинный и подтянутый, Вильгельм Штрасс ступал широко. Несмотря на внешнюю строгость, было заметно и его волнение: за прокол, главным образом, спросят с него! Генрих семенил следом, ремень автомата то и дело сползал с плеча. Они направлялись к выходу, где задержали польскую женщину.

Он увидел её ещё издали, но не находил сил заглянуть в глаза. Странное чувство, которое он испытывал, Генрих не мог объяснить даже себе. Должно быть, она была в замешательстве, лицо горело огнём, плечи тряслись, будто в лихорадке, но рядовой не смотрел выше её запачканного платья. Его безумно тянуло к женщине, он ощущал жар от её присутствия. Чувство мужчины, желающего защитить слабую женщину, чувство человека — не солдата! — обуревало его, но оно было бесплодно и бессмысленно.

Диц, Штрасс и задержанная без слов обогнули кирпичную стену и скрылись от людей.

— За попытку украсть добровольца, едущего работать на великую Германию, приговариваетесь к расстрелу, — Штрасс произнёс это без эмоций. Он говорил не для женщины, которая не понимала немецкого, — для Дица.

Приказ оглашён.

Генрих, помедлив, коснулся подушечкой пальца затвора, погладил его. Бегло оглянулся, и мысли — быстрые, как автоматная очередь, — замелькали в его голове.

Штрасс строго повёл бровью.

“Пристрелю его! Тварь. Бездушная гестаповская тварь! Ты знаешь, что будет суд, скоро. Нас всё равно не простят. Тебя повесят, и меня. Зачем? Мне проще прикончить тебя, сволочь, проще! А её отпустить! Я больше не могу так! Не могу! Убыю, понял, убыю!”

Штрасс, будто сумев уловить колебание души рядового, только улыбнулся.

Диц плавно передёрнул затвор, установил рычажок на одиночный огонь. Старался, чтоб никто не заметил, как дрожат пальцы.

Раздался выстрел. Короткий, тяжёлый, будто удар по ритуальному барабану. Несколько чёрных ворон, испуганно каркая, поднялись с покорёженной стены. В нос ударил сухой запах пороха. Эхо выстрела захлебнулось в решительном и долгом гудке поезда.

— Диц, быстро на пост, — отчеканил Штрасс.

Женщина лежала ничком, прижавшись к серой стене. Она казалась живой, просто спящей. Её бледные руки скрестились на груди, будто она прижимала ребёнка. И только кровь сочила между пальцами, словно миро из иконы богоматери.

Генрих, ссутулившись, как старик, медленно возвращался на дежурство. В виске противно стучало, будто маленький дятел сидел на плече и искал в голове червей. Теперь ни о чём не думалось. Разве о том, что надо забыть

и про этот случай. Всё забыть. Тем более, это не первый человек, убитый им по приказу. Он машина вермахта, без воли.

Мальчик стоял в вагоне среди донельзя исхудалых и потому похожих на церковные свечи узников. Один из них погладил его плечо жилистой рукой, но тот вытянулся и замер, словно восковая фигура, и ничего не замечал вокруг. Он долго искал в толпе заплаканными глазами только-только обретенную и так неожиданно утерянную маму. И видел лишь ворон в сером небе Ченстохова.

Вагоны захлопнули, словно заколотили крышки гробов. Поезд тронулся. Генрих Диц стоял, где и прежде, угрюмый и вытянутый, как придорожный столб. Раскуривал “Саго”. Далеко не в первый раз приходилось ему дежурить на вокзале. Пройдёт день, и завтра повезут новую партию рабочей силы в Бухенвальд.

И когда шум уходящего состава умчался прочь, Генрих обернулся вслед и опять пожалел, что не бросился под колёса. Война мстила ему, не спешила забрать, унести, освободить, как других.

\* \* \*

— Дедушка, ну, пойдём же! Мы уже целый час на вокзале! Что ты всё смотришь, тут нечего же смотреть! Давай поедем в город! — светловолосый мальчик перекатывал во рту конфету и тянул за руку пожилого мужчину.

— Деда, ты что, плачешь? Что случилось? — мальчик заметил, как у старика сорвалась слеза и упала на перрон.

— Всё хорошо, Алёшенька, это у меня, наверное, от пыли. Сейчас поедем, сейчас, — наконец ответил старик и прошептал. — Да, как же всё тут изменилось...

— Здорово, что ты взял меня с собой в путешествие! А как ты говоришь эта страна называется? Польша? — ликовал Алёша, когда они сошли с автобуса и увидели старинный монастырь на Ясной Горе.

— Польша, Алёшенька, мы с тобой в Польше. А завтра поедем в Германию, в город Веймар.

В храме было немногочисленно. Мальчик не стал заходить, а побежал в цветущий сад, где играли другие дети.

Старик стоял, согнувшись перед Ченстоховской иконой Божьей Матери, его трясло, и он не мог сдерживать слёз. Смотрел на тёмный, грустный лик, на чёрные, как у вокзальной уборщицы, руки. Когда-то в древности Деве Марии на этой иконе саблей рассекли щеку. Он прошептал:

— Мама... если на небе ты можешь слышать меня... я выжил...

## ИВАН-БОГ

Мы были вдвоём; говорили долго, тепло, будто решили за вечер вылить, отдать всё, что накопили в душах. Мы любовались на веранде летним багряным закатом. Я набрал у соседа черешни и угощал её. Медленно подносил ягоды, и, каждый раз, когда она слегка касалась языком моих пальцев, я не мог терпеть: мне хотелось опрокинуть корзинку, решительно сжать её аккуратное тельце в объятиях, упасть с ней на этот алый ковёр. Любить её, размазывая по веранде благоухающий сок, чувствовать крепкий дурман летней сладости. Я с трудом удерживал страсть.

После, когда стемнело, мы отправились на маленькую кухню. Я гладил её плечи, волосы, груди. Мы знали, что нарушаем правила, что наша нежность пахнет запретом, а значит, очень сладко, как липовый цвет в эти тихие ночи. Мы никогда не были так близки. Я был смел, а она искренна, и мне впервые хотелось, чтобы ночь стала вечной, чтобы она окутала наше откровение, взяла под защиту его тайну и хрупкость.

Мы сберегли чистоту нашего единства, — мне казалось, весь мир без остатка заполнил блеск её глаз, шёпот губ, лёгкие минуты грубости и страсти,

когда мы целовались. Я твердил, что люблю; она не спешила ответить, а только улыбалась, прижимаясь ко мне, и я с трудом удерживал себя в этой мягкой душистой тесноте. Поцелуями она давала понять то, чего я ждал. На её душу, словно на веретено, легко и быстро ложилась витки моих слов. Я знал, что приношу радость, и понимал, что значит счастье. Может быть, потому она уснула так быстро, легко, по-детски доверяя мне.

Я осторожно перенёс её в спальню, укрыл одеялом и вышел на веранду. Собаки в соседских дворах тут же подняли лай, словно я был чужой. Я и правда ощущал себя кем-то нездешним, инородным, вернее, только родившимся посреди тишины и звёздного неба. Я вернулся в дом, посмотрел на неё, спящую, свернувшуюся клубочком, прижавшую к себе, словно медвежонка, овальную набивную подушку. Поцеловал. Потом ещё и ещё. Было совсем темно, и только часы на столике высвечивали: половина второго ночи... седьмое июля.

“В самом деле, седьмое июля”, — подумалось мне.

Я тихонько закрыл дверь и ушёл. Сегодня особая, волшебная ночь, и она только в самом начале. Мне вспомнилось, как в детстве мы верили, будто в купальскую ночь птицы и травы умеют говорить, деревья переходят с места на место, и тот, кто сумеет в потёмках отыскать цветок папоротника и не испугается лесных духов, найдёт любой клад.

Свой клад я отыскал, но сейчас мне нужно недолго побыть одному. Уже через минуту я завёл машину и ехал, представляя, как она спит и видит сны, а в окно мне пел свежий июльский ветер...

\* \* \*

Ночной город мерцал, пульсировал жёлтыми огнями светофоров. Я быстро миновал пустые, умытые поливальными машинами улицы. Выехал к укрытым в темноте дачным домикам, и от них пустая автострада за четверть часа привела меня к Лысым Горам. Дорога повернула, и здесь я оставил машину. Слева от меня невдалеке начинался лес, справа — луга и поля. Я шёл, и мне казалось, что каждая невидимая в темноте травинка шуршала под ногами, спешила поговорить, рассказать о прожитом дне и дать нужный совет. Душа замирала в этой тишине и мраке; она, обманутая городом и суетой, отказывалась привыкнуть к близости земли, пугалась бесконечной гармонии спящего неба. Живя в смиренной рубашке, она не верила, что ей дана свобода, что здесь разрешено гулять и петь. Но, освобождаясь от пут, она становилась крылатой и вольной. Как впечатлительный ребёнок, душа слушала голоса природы и пугалась их, рвалась к привычному гулу далёких автострад. Бедная моя, глупая душа! Это я приучил тебя к страху и терзаниям, поместил в клетку тишине и мраке, разучил петь. А теперь загляни на хлебные поля, пройди бережком речки, подыши прохладой хвойного леса! Отдохни и, обойдя просторы, собери меня, разорванного на части. Дай понять то, что случилось, научи, как сберечь любовь, как не сломаться и идти дальше.

Думая так, я приближался к соснам. В кустах зашуршало что-то, и я вздрогнул. Это что-то сопело и торопилось.

— Здравствуй, ёж! — засмеялся я. Вспомнилось, как моя бабушка, уходя в лес, здоровалась со всем, что видела. Я не понимал, зачем она разговаривает с деревьями, обращается к реке и косогору, которые не могут говорить и слышать. Теперь мне открылась глубина её близости с живым миром, и я тоже приветствовал всё, что меня окружало.

“Может, нужно было разбудить и позвать её с собой? — подумалось мне. — Нет, прежде надо наладить себя, и уже скоро мы будем здесь вместе”.

Июльская ночь коротка, и сосновый лес пробуждался с каждой минутой, и вместе с утренним восходом прояснялась и моя жизнь. В предрассветной мгле я заметил на опушке небольшую поляну иван-чая. Высокий, почти с меня ростом, он был крепкий, с вытянутыми и узкими шероховатыми листьями, и казалось, что покрытые росой фиолетовые цветки, словно колокольчики, звенят, приветствуя меня. Я достал из кармана смятый пакет, нащупал



на брелке миниатюрный складной нож. Никогда раньше я не собирал трав и плохо понимал в них, но иван-чай знал хорошо, ведь именно его любила собирать бабушка. Кажется, она говорила, будто в самых верхних листьях его сила, и потому аккуратно срезал яркие головки, складывая, чувствуя какую-то неведомую, первобытную радость. Я был таким же собирателем, как и мои далёкие предки.

— Зачем ты так? — кто-то вырос за моей спиной.

Странно, но я даже не вздрогнул от неожиданности.

— Не губи понапрасну.

Я обернулся, ожидая увидеть бородатого старика-лесовика, маленького и щедрого, с седой, достающей земли бородой. Но нет, передо мной стоял пожилой мужчина в измятой, но чистой клетчатой рубашке, штанах-трико и резиновых сапогах. Такие обычно торгуют на рынке грибами, пасут коров на придорожных лугах или сидят по берегам рек с удочками. Он на мгновение повернулся спиной, зачем-то щупая кору сосны, и я увидел у него смешной и яркий школьный рюкзак с множеством отделений, молний и карманов.

— Смотри, — он подошёл, мягко взялся за цветки иван-чая, и плавно провёл ладонью по стеблю. Мгновение — и листья были в его скрюченных пальцах. Кустик стоял, словно обнажённая девушка, и только яркие цветки горели жгучим румянцем.

— Цветы не тронь, — продолжил незнакомец. — Лист твой, цветок и мёд — пчелиный. И за всё благодаришь землю и небо.

— Землю и небо? — спросил я, удивляясь всё больше. Я не ждал, что он станет говорить красиво.

— Отец — небо, мать — земля, так и есть, — ответил он.

Я даже не заметил, что мы оставили иван-чай и пошли по тропинке вглубь леса. Светало, и мой спутник как-то странно и спешно заглядывал под каждое дерево. И продолжал говорить:

— Когда что-то вздумал унести от леса, помни, — это не твоё. У матери с отцом берёшь, значит, у них и просишь. Но брать должен так, словно крадёшь: чтоб не найти в траве твоего следа. Не дыша, возьми лист, остальное оставь. Обернись, посмотри, не нарушил ли покоя трав. А если ножом срежешь, матери с отцом раны оставишь, и не будет тебе проку. Если есть воля, возьми лучше этот ножик, надрежь палец да оставь травке каплю своей крови. Тогда лист, тобой унесённый, особую силу займёт.

От его слов, пусть странных, стало радостно и спокойно. Мне чудилось, что нет ничего лучше этой случайной встречи. Мне не хотелось отвечать ему, будто любой звук мог оборвать тайну, нарушить покой леса, и сутулый травник исчез бы, растаял в сумраке.

Но молчать я не мог, ведь он сам спросил меня:

— Не похоже, чтобы ты пришёл за травами. Зачем ты здесь?

— Да вот, дышу, гуляю, — ответил я.

— Душою дышишь. Дыши, это нужно, — он остановился у муравейника и попросил меня:

— Нагнись, взгляни, а то мне неловко.

Я опустился на колени перед муравейником. Представил, как сложно устроен этот огромный лесной дом, хозяева которого сейчас спят в миллионах укрытий. Нарушь их покой — и тысячи их зашевелив крохотными лапками и усиками, выбегут, источая кислоту, готовые погибнуть, защищая своё племя.

Мне так не хотелось нарушать их покой, и я бережно провёл рукой по чёрному холму.

— Сегодня Иванов день, — сказал старик. — День особый. Нет на нем масла?

— Где? На муравейнике? — удивился я.

— Могло проступить, — он присел со мною, мы были рядом, и я вдруг почувствовал от него дух костра, сладкой смолы, печёного яблока. — В Иванов день у муравьёв-трудяг праздник. Веселье, и только под самое утро затихают, и от гульбы масло и проступает. Успеешь собрать, будет тебе здоровье от ста недугов.

— Да я и так здоров, — вдруг зачем-то сказал я, и стало стыдно, что бахвалось перед пожилым человеком.

— Здоров, думаешь? А с виду будто дурнишника объелся, — он смотрел на меня внимательно и с иронией, прямо в глаза, изучая душу. И я тоже лучше рассмотрел его лицо, и было оно какое-то сморщенное и серое, словно старый картофель, но мудрое и, казалось, очень-очень знакомое. Он помолчал и продолжил:

— Я знаю, почему ты здесь. Сердце в беспорядке. А говоришь, здоровый. Только-только на поправку пошёл, первая ночь, когда дышится тебе. И то хорошо, плохое не помни, оно ходит по кругу и травит до одури.

От его слов грудь наполняло странное тепло, такое иногда чувствуешь, стоя в полумраке церкви. Мне казалось, что старик подержал мою жизнь, побросал её из ладони в ладонь, словно вынул из костра чёрную от угля картофелину. Всё, что было и чего нет, к чему стремился и не достиг, все обиды и боли сейчас слетелись, собрались в гомонящую стаю, и навсегда ушли, сорвались с его ладони.

— Всё у тебя хорошо будет, — сказал он и поднялся с хрустом в коленях. — Правда, масла от муравьёв не возьмём уже. Опоздали.

— Иванов день, — задумчиво произнёс я.

— А знаешь, отчего Иванов-то? — спросил собиратель трав.

— Видимо, по-церковному так.

— Это да, — ответил он. — Пошли.

Мы шагали мимо поросших лесом оврагов, ельников и березняков. Мой спутник поминутно снимал яркий рюкзак, кланялся до самой земли, будто целовал её, и незаметным движением брал от неё нужную ему былинку, случайный росток или ягоду:

— Иван-то он добрый, хороший, летний, оттого в лёгкой рубашке в свой день по земле ходит, в руках у него плоды с цветами. Вот такой он, Иван-Бог.

— Иван-Бог, — повторил я, наклонился и поднял еловую ветку. Мне тоже хотелось набрать чего-то, но не трав, а простых шишек, палочек, всякой всячины, чтобы привезти, разложить на столе и полках. Лес вдруг закончился, и мы вышли на широкий, примыкающий к селу луг. Поднималось солнце, и старик стоял, молча радуясь близости восхода. Я почувствовал себя лишним в мире его гармонии, хотел незаметно уйти, не прощаясь, уже делал робкие шаги назад, в чащу, когда он позвал:

— Смотри! — он указал на алый горизонт. — Отец-небо выпустил солнышко, значит, всё хорошо, — он раскинул руки, словно обнимал мир, взял меня, словно мальчика, и повёл по лугу.

— Смотри, сколько трав пришло на зелёные святки! Тут тебе и плакун-трава, и голова адамова, одолен-трава, медвежье ушко да купальник, чернобыльник да петров крест. Вовремя мы с тобой.

Я упал среди трав, чувствуя, как роса умывает лицо. Старик нахваливал, различая всё новые и новые растения, словно приветствовал гостей на празднике. Все названия были мне не знакомы, но вслушиваясь в них, я сразу понимал их силу и назначение:

— Чистец-трава да успокой-трава, троицын цвет да соколиий перелёт, сердечник да родовик, здравствуйте! Приворотень да поскон, денежник да горлянка, и вас рад видеть! Брань-трава да волошка, как же вы рядом? Да ничего. Молодильник да перунов цвет, любим-трава да марьян башмачок! Духовый цвет да звонница! Ай, да радости тебе, Иван-Бог, что прошёл ты здесь!

Я знал, что если в эту минуту сорву любой из этих жёлтеньких, алых, фиолетовых соцветий, подышу на них, поднесу к губам и нащепчу, то сбудется любое желание, невозможное станет возможным, и мир замрёт навеки в этой радостной минуте. Я смеялся, и хотелось, чтобы сейчас же, внезапно начался проливной дождь. Чтобы он звонко барабанил по листьям лопуха, чтобы мокрые непослушные волосы лезли в глаза, чтобы налетал шальной, но тёплый июльский ветер, а мы сидели бы молча со стариком прямо на земле и слушали, как отходит гроза, унося бодрящую прохладу в сторону города.

Но не было дождя. Всё выше и выше поднималось, разжигало новый день солнце. Мы с травником думали, молились в эту минуту каждый о своём. Я собрал небольшой букет и спросил вдруг:

— А как же папоротник, что цветёт раз в год этой ночью? Мы и его упустили, как муравьиное масло?

— Не ищи в жизни папоротника, не нужен он тебе, — послышался ответ. — И здесь особенно. Если встретишь его, не смотри, иди мимо.

— Почему? Так много здесь кладов?

— Так много горя, — вздохнул старик-травник. — По этим лесам, — он обернулся к вековым деревьям, всмотрелся в верхушки сосен с тоской и уважением. — По этим лесам кости предков наших, крестьян. Много их убито, оплакано да не отпето.

— Антоновцы? Я читал, что тут, в Лысых Горах, антоновцы прятались, даже, говорят, где-то в овраге нашли их ржавый пулемёт.

— Не антоновцы, а люди, — ответил травник. — Люди.

Он помолчал, дав мне время осознать сказанное.

— Люди это были. У которых жилы и мускулы, кровь да слёзы, всё, как у нас с тобой. — Старик бережно сорвал сухую былинку и пожевал её. — Тут их земля, а значит, их вера и боль. Я находил, а ты не вздумай искать папоротник в Иванов день, откроет он тебе правду — не в силах будешь унести. Знаешь, как много их здесь, душ людских? В Духов день слетаются они, больше тысячи, и сидят по берёзовым веткам, шепчутся, поют старые песни да плачут о себе, да и о нас тоже плачут.

— А Иван-Бог, он тоже здесь всегда?

— Он всегда тут. И тогда бродил, глаза людские закрывал, от этого травы росли густо вокруг несхороненных, и было много разноцветья вокруг. Иван-Бог души утешает. Вот тебе как?

— Хорошо.

— Вот видишь, хорошо, — он произносил это, как молитву, — всё хорошо должно быть. Как иначе, — и он о чём-то вздохнул.

Я так и не спросил его имени. Мы разошлись каждый в свою сторону. Он спустился вниз по склону в село, которое уже просыпалось, звучало голосами и моторами. Совсем рассвело, и я с букетом лучших полевых цветов спешил вернуться и застать её спящей. Я возвращался к машине, и мне казалось, что по моим следам с лукошком ягод и трав идёт в лёгкой рубашке и улыбается Иван-Бог.

## ОДИН У ПЛОТИНЫ

“Не бродить, не мять в кустах багряных // лебеды, и не искать следа...”

Я приехал, я вернулся, я здесь... Снова и снова читаю есенинские строки, и это значит, что наконец-то добрался, чтобы побыть одному и подумать. Я один на плотине реки. Это моё место, родное, потаённое. Здесь я бродил без цели, любил и мечтал, когда мне было четырнадцать; я приезжал сюда в двадцать лет, затем ещё когда-то, но потом всё реже... И вот теперь. Иногда мне кажется, что, когда умру, моя молодость и старость придут сюда, на плотину, чтобы взглянуть друг на друга...

В последние месяцы плотина грезилась мне и, словно живая, звала шумом воды. Но я обманывал себя, укрывался делами, прятался за обязательствами, врал самому себе, находя причины, почему не могу бросить всё и приехать. Но теперь, после бессонной ночи я понял, что хватит.

Словно осенний лист, я сорвался сюда.

В пути меня встречали поля, перелески, берёзовые посадки. Мне кланялся острый, украшенный ягодами шиповник, и, словно маяки родного берега, звали алые огни рябин. Это были мои места, и моя разбитая дорога пылила, вела за собой. Где-то здесь бродила светлым облаком потерянная часть моей души, самая чистая и зовущая.

Я приехал ранним утром, чтобы свесить ноги на плотине, понимая, что некуда спешить. Нет ничего глупее, чем спешить. Я всматриваюсь в долгий

осенний рассвет и слушаю, как просыпается жизнь, как внизу бьёт о камни вода... Как долго меня не было!.. И всё это время плотина сбрасывала воды, их не повернуть вспять. Недаром говорят: "река жизни". Это самое простое и верное сравнение.

Я смотрю на восход. Уже сентябрь, утро прохладное, но солнце, алое и ласковое солнце разливает последнее тепло по моему сердцу. Да, я здесь, и я пью один. Что может быть хуже... и что может быть лучше, чем пить одному утром, думать и вспоминать. Хмель лианой проникает в меня, стелется и путает мысли, дарит тепло вместе с рассветом.

Я приехал, чтобы остаться наедине... с тобой.

Ты всегда со мной, все эти годы я ношу тебя, словно в шкатулке. Я прячу тебя от мира и люблю только тогда, когда без тебя невыносимо идти дальше. Годы, время, взлёты, падения — всё это наносное по сравнению с тобой.

Именно здесь я нестерпимо болел тобой, и эта боль освещала меня. Я мечтал о тебе; мне хотелось, чтобы ты бежала по этому лугу за плотиной, а я шёл следом, в блеске росы едва находя следы. Я целовал бы их, различая, где ты коснулась травы. Но ты никогда не бывала здесь и не встречала рассвет со мной. Виноват ли я в этом?..

Сейчас я знаю, что ты — лучшее, что могло бы случиться со мной, но не случилось. Иногда я говорю себе, что так уютно судьбе. Мы не вместе, но я ни за что не отпущу тебя. Я знаю, и ты любила меня, но не дала шанса этой любви пустить корни, подняться к небу, воспринять множеством соцветий.

Хотя кто теперь рассудит и нужно ли думать об этом? Вот я, один у плотины, а ты спишь сейчас в каком-то из городов мира или отдыхаешь на побережье, или купаешься в лазурном водопаде. Где же ты, где твои пшеничные волосы, где взгляд голубых глаз?

Где бы ты ни была, спасибо тебе за то, что ты есть! Храни тебя Господь!

Мне остаётся выпить за тебя и мысленно отправить привет из этих мест. Может быть, он дойдёт до тебя, его донесут голоса улетающих птиц.

Счастливый ли я человек?

Да, я счастливый человек.

Спасибо тебе за это.

Как там у Есенина:

"Не бродить, не мять в кустах багряных // лебеды, и не искать следа..."

Здравствуй, божий рассвет, такой печальный в сентябре. Здравствуй.